



ИДЕОЛОГИИ

Л.В.Поляков К ИЗУЧЕНИЮ РОССИЙСКОГО КОНСЕРВАТИЗМА: ИСТОРИЯ И МЕТОД

Ключевые слова: консерватизм, российский контекст, концептуализация, методологическая стратегия

Историческое прошлое и современное состояние российского консерватизма — тема в равной степени и академически фундаментальная, и политически остро актуальная. В обоих случаях сам предмет оказывается таковым, что вызывает постоянные дискуссии, оставляющие впечатление какой-то недосказанности. Российскому консерватизму давались вроде бы окончательные определения, но каждый раз обнаруживалось, что завершающей ясности в этом вопросе как не было, так и нет.

Сравнительно недавно неутешительный итог этой истории *post finitum* подвел Ричард Пайпс. «Идеология русского консерватизма, — констатирует он, — это предмет, который по большому счету игнорировали как либеральные, так и радикальные историки. И до, и после революции они были склонны уходить от его обсуждения, считая эту идеологию или самооправданием режима, стремившегося сохранить свою неограниченную власть, или выражением эгоистических интересов имущих классов, — во всяком случае, идеология консерватизма лишилась серьезного интеллектуального содержания. Вследствие этого имеющаяся литература не соответствует тому значению, которое консерватизм приобрел как в российской теории, так и на практике»¹.

Верность этого наблюдения довелось испытать на себе и автору этого текста. Еще в 2004 г. я опубликовал статью о парадоксах российского консерватизма, в которой определил наших «новых правых» (Союз правых сил) как *функционально* консервативное политическое объединение, продолжающее традицию британско-американской «консервативной волны» (Тэтчер—Рейган)². Но несмотря на то что статья была помещена в рубрике «Приглашение к дискуссии» вполне солидного журнала, никакого отклика на эту, как мне кажется, довольно неожиданную трактовку отечественного консерватизма я не получил. То ли я, как принято в таких случаях говорить на неакадемическом языке, «закрыл тему». То ли сама «тема» настолько безбрежна и принципиально «незакрываема», что изначально было наивно ожидать чьей-либо рефлексии по этому поводу.

Этот частный сюжет представляется мне уместным в научной (ничего личного) статье лишь по одной причине. Несостоявшаяся дискуссия о консерватизме (не только в моем конкретном случае, но и

¹ Пайпс 2008: 12—13. В качестве существенного вклада в традицию академического изучения отечественного консерватизма сам Пайпс упоминает сборник «Русский консерватизм XIX столетия» (Гросул (ред.) 2000). В рамках той же традиции нельзя не отметить и сборник портретов русских консерваторов от Аракчеева до великого князя Сергея Александровича (Российские консерваторы 1997).

² См. Поляков 2004.

³ По-видимому, единственное исключение, подтверждающее общее правило, — сборник статей по итогам конференции о российском либеральном консерватизме «Либеральный консерватизм: история и современность» (см. Либеральный консерватизм 2001).

в масштабах всего российского научного сообщества³) указывает на ключевой для понимания ситуации с отечественным консерватизмом момент. А именно на принципиальную гетерогенность нашего интеллектуального и публично-политического пространства, в котором *eo ipso* оказывается невыполненным главное условие существования консерватизма (как угодно интерпретируемого) — преемственность. Конечно, эту ситуацию можно списать на, так сказать, естественную дисконтентность постмодерна, отвергающего любую связность как симптом тотализирующего Grand Narrative. Но в самом ли деле мы постмодернисты?!

NB! Даже признавая контекстуальную легитимность определения «младоконсерваторы», в свое время данного Юргеном Хабермасом постмодернистам, нужно констатировать, что оно в большей степени оксюморон (или даже идеологическое «клеймо»), нежели безупречная идентификация. Ведь бытие в разрывах, в руинированных бриколажах, в неисследимых стандартными логическими операциями «следах» и в обладающих большим смыслом, нежели смысл эксплицитно артикулированный, «лакунах» — почва наименее благоприятная как раз для такого интеллектуального, идеологического и политического феномена, каким представляется консерватизм. В этом отношении явно не случайно его отцом-основателем оказался Эдмунд Бёрк, представитель культуры — носительницы простого «секрета» идеального газона. Действительно, ничего иного, кроме как «500 лет стричь и поливать», в качестве универсального рецепта консерватизм и не предлагает. И этот рецепт, разумеется, относится в первую очередь к нему же самому.

Впрочем, не все так безнадежно, как может показаться. Публикации о российском консерватизме спорадически появляются, и это свидетельствует о том, что запрос на его осмысление в нашем обществе и научных кругах имеется. Одним из ответов на этот запрос является статья Багауддина Мантикова «Консерватизм в постсоветской России: между ностальгией и утопией»⁴. Автор предпринял заслуживающую серьезного внимания попытку описать, классифицировать и типологизировать те идейно-политические течения в постсоветской России, которые, на его взгляд, могут быть включены в общую рамку — «консерватизм».

Согласно классификации Мантикова, основанной главным образом на анализе политико-идеологической практики 90-х годов прошлого века, в постсоветской России сложились два «спонтанных» варианта консерватизма и один «номенклатурный», или «бюрократический». Последний рассматривается автором в преемственной связи от ПРЕС к НДР и через ОВР к «Единой России» и фактически трактуется как, используя формулу Пайпса, «выражение эгоистических интересов имущих классов». Эволюция российского постсоветского консерватизма описывается как постепенное вытеснение его «низового» («спонтанно-

⁴ См. Мантиков 2012.

го») варианта номенклатурным. При этом утверждается, что, хотя «в настоящее время номенклатурный консерватизм „Единой России“ является доминирующей версией отечественного консерватизма... посткоммунистический консерватизм — гораздо более сложный и многозначный феномен, чем идеология нынешней „партии власти“»⁵.

⁵ Там же: 52.

Представленная Мантиковым картина последнего двадцатилетия российского консерватизма во многом адекватна, но вместе с тем вызывает ряд серьезных вопросов. Например, что означает доминирование «номенклатурного консерватизма», если в самой «партии власти» существуют как минимум три идеологические платформы: социал-консервативная, государственно-патриотическая и либеральная?⁶ Почему «низовой» консерватизм в обеих версиях — «национал-консервативной» («белой») и «социал-консервативной» («красной») — оказался вытеснен «на обочину политической жизни», если — по смыслу определения «низовой» — он и так там пребывал? Почему в поле исследования не попали такие наиболее инновационные версии современного консерватизма, как «революционный консерватизм» Александра Дугина (2001), доклад Консервативного совещания «Контрреформация» (2005), «Манифест русских консерваторов» (2006) или «Право и правда. Манифест просвещенного консерватизма» Никиты Михалкова (2010)?

⁶ А кроме этого имеется еще и Комиссия по идеологической и агитационно-пропагандистской работе Центрального совета сторонников партии «Единая Россия», которая публикует вполне качественные тексты о консерватизме (см. Современный российский консерватизм 2011).

Понятно, что в журнальной статье такую бескрайнюю и неоднозначную тему полностью не раскроешь. Как раз поэтому важно точно определить, что именно на сей счет уже сказано и что в связи с этим необходимо к сказанному добавить, дабы осмысление отечественной консервативной традиции превратилось в рефлексию, самой этой традиции способствующую и ее развивающую.

Опять-таки возможные добавления ограничены рамками журнальной статьи, и потому они будут сделаны лишь в двух направлениях.

Во-первых, следует уточнить, насколько верно представление о том, что современный российский консерватизм опирается не только на советское и эмигрантское консервативное «подполье», но и на богатую консервативную традицию XIX — начала XX в. При всей кажущейся очевидности тут может обнаружиться много парадоксального и неожиданного.

Во-вторых, нужно инвентаризировать тот методологический инструментарий, с помощью которого мы исследуем, описываем и классифицируем сам феномен — «российский консерватизм». В статье Мантикова упоминается Майкл Оукшот, который дал свой вариант ответа на вопрос, что значит быть консерватором. Но есть еще как минимум три методологические стратегии, с помощью которых феномен консерватизма может быть подвергнут осмыслению и концептуализации. И будет совсем не лишним, если мы в начинающейся (хочется надеяться) серьезной научной дискуссии изначально ототрефлексируем релевантные нашей теме методологические подходы.

Глядя на современный консерватизм в исторической ретроспективе, многие исследователи (и Мантиков не исключение) в качестве

своеобразного а priori исходят из его наличия уже с начала XIX в. Действительно, в российской истории можно выделить период, практически столетие (с 1814 по 1914 г.), когда имелись солидные предпосылки для культивирования консерватизма как мировоззрения, идеологии и даже практической политики. Тем более что у истоков этого периода стоял мыслитель европейского масштаба, первый российский профессиональный историк и основатель русского литературного языка Николай Карамзин. Его знаменитая «Записка о древней и новой России» (1811)⁷ и по своим интеллектуальным достоинствам, и по глубине анализа российской ситуации накануне наполеоновского вторжения, и по степени концептуализации отечественной истории, несомненно, находится в одном ряду с таким классическими консервативными текстами эпохи, как «Размышления о революции во Франции» Бёрка (1791) и «Рассуждения о Франции» Жозефа де Местра (1796).

⁷ См. Карамзин
1991.

Однако когда мы употребляем в отношении Карамзина столь уважительное определение, как «тем более», нужно соотнести наше современное восприятие его как основоположника русского консерватизма и его реальное «позиционирование» в контексте российской политики первого десятилетия XIX в. Да, безусловно, его можно считать влиятельной фигурой, особенно памятуя о том, что его «Записка» сыграла определенную роль в судьбе императорского фаворита и на тот момент статс-секретаря Государственного совета Михаила Сперанского. Но в действительности консерватизм как имперский «мейнстрим» не задался именно в эпоху Александра I.

Этот император явно предпочитал видеть себя в роли реформатора, а отнюдь не хранителя «заветов отцов». И дело даже не в том, насколько трагичной оказалась судьба его собственного отца. Дело в том, что уже практически целый век российская элита формировалась за счет мощного европейского «краудсорсинга», а потому у одиночек (вроде князя Шербатова, а затем и Карамзина), естественно, не было никаких шансов на то, чтобы легитимировать в придворной имперской среде сам дискурс национальной самобытности и тем самым превратить консерватизм если не в официальную «идеологию», то, по крайней мере, в устойчивый набор принципов имперской политики.

NB! За рамками данной статьи остается сюжет, связанный с идеологией так называемой «официальной народности», изобретателем которой не без оснований считается граф Сергей Уваров. Его триада «православие — самодержавие — народность», бесспорно, представляла собой попытку обеспечить власть легитимирующей политической (и, шире, мировоззренческой) доктриной. Однако по иронии истории именно в тот момент (середина 1830-х годов) власть в такой доктрине нуждалась в наименьшей степени. Во всяком случае, именно так воспринимал ситуацию император Николай I, в глазах которого сама мысль о том, что императорская власть нуждается в некоей доктринальной легитимации, выглядела как

подрыв легитимности (если последняя хоть в каком-то смысле вообще могла характеризовать его власть).

Нужно вспомнить, что карамзинская «Записка» — это резко критический памфлет (в английском смысле), направленный против всей политики первой декады александровского царствования, и прежде всего против государственно-политических реформ, главным дизайнером которых выступал Сперанский. В ней высказан приговор всей стратегии реформ, основанный на максимах консервативной мудрости, сформулированных за 20 лет до этого еще Бёрком. В частности, Карамзин осмеливался утверждать: «Зло, к которому мы привыкли, для нас чувствительно менее нового, а новому добру как-то не верится. Перемены сделанные не ручаются в пользу будущих: ожидают их более со страхом, нежели с надеждой, ибо к древним государственным зданиям прикасаться опасно. Россия же существует около 1000 лет и не в образе дикой Орды, но в виде государства великого, а нам все твердят о новых образованиях, о новых уставах, как будто бы мы недавно вышли из темных лесов американских! Требуем более мудрости хранительной, нежели творческой»⁸.

⁸ Карамзин 1991: 63.

NB! Живший в те годы в России де Местр в наброске заключительного фрагмента «Санкт-Петербургских вечеров», охарактеризовав состояние современной ему России, дает ей следующий совет: «Все — от государственных законов до лент на платьях — все подвластно неутомимому вращению колес ваших перемен. Но взгляните на другие народы, населяющие земной шар, их привела к славе система противоположная! Упрямый британец тому доказательство <...> так следуйте же подобным образцам; во всем, даже в мелочах, противодействуйте духу новшеств и перемен»⁹.

⁹ Местр 1998: 606—607.

¹⁰ *Приватный, то есть государственно-секретный, характер «Записки» курьезным образом засвидетельствовал цензор, изъявший ее из декабрьского номера журнала «Русский архив» за 1870 (!) г. (при том что на обложке самого номера она осталась объявленной). Недоуменный отклик на эту акцию правительства см. в «Московских ведомостях» Михаила Каткова (<http://www.reformshistory.ru/khronograf/1870/56-tsenzurnoe-zapreshchenie-qzapiski-o-drevnej-i-novoj-rossiiq-karamzina>).*

В отношении жанра этого на самом деле дерзкого текста стоит сделать одно важное уточнение. Он мог бы действительно стать памфлетом, то есть публичным текстом, имеющим целью определенным образом повлиять на общественное мнение. Однако с самого начала, сообразуясь с условиями места и времени, Карамзин придал своей «Записке» сугубо приватный характер. Она была написана, как полагают, по просьбе сестры императора Екатерины Павловны и именно через нее передана самому Александру¹⁰.

В этой частной истории отражается вся особость российской самодержавной ситуации. В отличие от Британии, примеру которой рекомендовал следовать де Местр, у нас не было институционально закрепленной двухпартийной системы, которая появилась в Англии еще в XVII в. Вместо «тори» и их оппонентов «вигов» в России складывалась иная дихотомия — «славянофилы» и «западники».

И разница не только в том, что эти две квазипартии отражали принципиально иное целеполагание в сравнении с партиями англий-

скими и потому работали не на интеграцию, а на раскол сначала интеллектуальной, а затем и политической российской элиты. Основная разница заключалась в том, что британская корона относилась к обеим партиям как к своим, поочередно передавая исполнительную власть то одной, то другой. И всегда оставляя проигравшую партию в почетной роли «оппозиции Его (или Ее) величества»¹¹.

¹¹ Ср.: «Консерватизм существует не в условиях абсолютных монархий, но при парламентском режиме как одна из партий» (Руткевич 1999: 47).

А в России на обе квазипартии с монаршего трона (и из императорского двора в целом) смотрели как на несанкционированно объявившихся конкурентов самодержавной власти. В эпоху Николая I доставалось и тем и другим. Верховный вердикт о «сумасшествии» основателя русского религиозного «западничества» Петра Чаадаева (впрочем, спасший его от уголовного преследования за оскорбление Русской православной церкви) и две ссылки западника-социалиста Александра Герцена говорят сами за себя.

Но и в отношении «славянофилов» меры предпринимались не менее жесткие. Вот характерный фрагмент из секретной записки, составленной в III отделении Его Императорского Величества собственной канцелярии: «В 1852 г. получено было сведение, что в Москве вновь делаются заметными славянофилы, что хотя цель их состоит только в том, дабы произвести переворот в русской литературе, не подражать иностранным писателям, искать для сочинений своих предметов самобытных и народных, но это стремление, под руководством людей неблагонамеренных, легко может обратиться в противозаконное и вредное. Поэтому из московских славянофилов над Константином и Иваном Аксаковыми, Хомяковым, Киреевским, профессором Соловьевым и другими учреждено секретное наблюдение, и сверх того князю Ширинскому-Шихматову 14 июля 1852 г. сообщено было, дабы на сочинения в духе славянофилов цензура обращала особенное и строжайшее внимание»¹².

¹² См. Русская старина. Сентябрь 1903: 666.

Легализованная в следующее царствование дихотомия «славянофилы — западники», казалось бы, должна была постепенно трансформироваться в политически аутентичные партийные бренды — «консерваторов» и «либералов». В этом направлении активно действовал, например, воспитатель рано умершего наследника Николая Александровича и основатель российской версии консервативного («охранительного», как он сам предпочитал выражаться) либерализма Борис Чичерин¹³. Однако на практике такая трансформация оказалась заблокированной сразу с нескольких сторон.

¹³ См. прежде всего его статьи «Различные виды либерализма» и «Что такое охранительные начала?» из сборника «Несколько современных вопросов» (1861) (Чичерин 1998).

Во-первых, сами славянофилы отнюдь не склонны были менять ироническую кличку, придуманную для них оппонентами, на общероссийский бренд и объявлять себя отечественными «консерваторами». Не потому, что на самом деле они представляли собой разновидность либерализма, как полагали некоторые советские историки. А потому, что никаких аналогий с западноевропейским социокультурным и политическим контекстом они в принципе не принимали.

К.Аксаков, опять же в частной записке «О внутреннем состоянии России» (1855), адресованной императору Александру II, выразил

эту позицию с однозначной определенностью: «Трудно понять Россию, не отрешившись от западных понятий, на основании которых все мы хотим видеть в каждой стране — и поэтому в России — или революционный, или консервативный элементы; но и тот, и другой суть точки зрения чуждые; и тот, и другой суть противоположные стороны политического духа; ни того, ни другого нет в Русском народе, ибо в нем нет самого духа политического»¹⁴.

¹⁴ Бродский (сост.)
1910: 71.

Во-вторых, на пути утверждения в России политической дихотомии «либералы — консерваторы» встали русские западники-социалисты. Выражая их общую позицию, Герцен доказывал, что «политика», то есть такие институты, как парламентаризм, многопартийность, выборы, — это сфера, отвлекающая общественную (революционную) энергию от главного вопроса эпохи. Главным и на Западе, и в России является «социальный вопрос», а потому социалисты должны воспринимать политическую отсталость страны не как препятствие, а как уникальный исторический шанс.

В России следует ставить своей целью «социальный переворот», а вовсе не борьбу за конституционализм, парламентаризм и многопартийность. Тут не нужны ни «либералы», поскольку их борьба за политические права — уже исторический анахронизм, ни, тем более, «консерваторы». Причем последние — по двум причинам.

Одна — чисто прагматическая. «Социальный переворот» в России, по мысли Герцена и его сторонников (получивших название «народники»), облегчается тем, что освобождение крестьян от крепостного состояния было произведено с землей, и не на индивидуальной, а на общинной основе. Поэтому если в России и был шанс создать сильную консервативную партию по модели британских тори, то он уже упущен. «Дворянство сильно желало бы играть роль консерваторов-тори, — отмечал Герцен, — но, к счастью, оно пришло к этой мысли на следующий день после утраты сокровища, которое должно было предать консервации»¹⁵.

¹⁵ Герцен 1986: 524.

Другая — культурно-историческая, не допускающая возникновение отечественного консерватизма в принципе. Оценивая имперский проект с момента его запуска, Герцен пишет: «Нельзя говорить серьезно о консерватизме в России. Даже само это слово не существовало до освобождения крестьян. Мы можем стоять, не трогаясь с места, подобно святому столпнику, или же пятиться назад, подобно раку, но мы не можем быть консерваторами, ибо нам нечего хранить. Разностильное здание, без архитектуры, без единства, без корней, без принципов, разнородное и полное противоречий. Гражданский лагерь, военная канцелярия, осадное положение в мирное время, смесь реакции и революции, готовая и продолжаться долго и завтра же превратиться в развалины.

В тот день, когда Петр, византийский царь, сделался императором на германский лад и поселился в Петербурге, царизм утратил всякую консервативную почву»¹⁶.

¹⁶ Там же: 523.

Эти многократно цитированные, но не утратившие от этого своей пронизательности и актуальности (не только в академическом смысле) герценовские формулировки во многом помогают понять и то, почему российские императоры весьма индифферентно, если не с подозрением, относились к попыткам создания «консервативной партии». Герцен убийственно точен в своих инвективах-констатациях и пророчески прав, говоря о том, что империя готова «и продолжаться долго и завтра же превратиться в развалины». Но он не включает в свой анализ один важнейший параметр, который должен быть учтен, если мы хотим разобраться в имперской идиосинкразии на любую, в том числе консервативную, партийность.

Вслед за де Местром и тем же Герценом сравнивая британскую и отечественную монархии, отметим главное различие. В первом случае имеется институт народной репрезентации через парламент и инкорпорированную в механизмы государственного управления двухпартийность. В нашем отечественном случае самодержавная власть рассматривает себя и воспринимается «народом» как единственный и достаточный репрезентант, не нуждающийся ни в каком партийном опосредовании. Причем репрезентант не просто «народа», а народа «православного», в конечном счете — «Святой Руси».

Этот взгляд с неподражаемой аутентичностью выразил общепризнанный «официоз» Михаил Катков в заметке в «Московских ведомостях» вскоре после убийства Александра II. Его суть передавал уже ее заголовок: «На Руси не может быть иных партий, кроме той, которая заодно с русским народом».

Приводя в пример опыт двухпартийной политики в Северной Америке, Катков характеризует «республиканцев» как «центростремительную силу государства», выражающую «патриотический дух и национальное чувство», и противопоставляет им «демократов», которые есть «движение центробежное, партия расторжения и разложения». Проецируя этот расклад на политический ландшафт России, он утверждает: «Дух космополитизма, нечистый дух политической безнравственности, расторжения и разложения — вот что роднит наших либералов с антинациональной партией в Северной Америке и в чем не уступят им и так называемые наши консерваторы, которые забыли свой народ и ратуют лишь за отвлеченные принципы».

В России государственную партию составляет весь русский народ. Гнилой либерализм и гнилой консерватизм оказываются только в нашем гнилом космополитическом и поверхностном образовании»¹⁷.

Через четверть века это суждение Каткова прошло практическую проверку. Наши, как он выражался, «воздушные партии, либералы и консерваторы», получили возможность в ходе выборов в первую и вторую Государственные думы поискать под ногами реальную политическую «почву». И нужно признать, что если для русских либералов (конституционных демократов) этот поиск оказался весьма успешным, то для тех, кто претендовал на статус «консерваторов», тестирование народной «почвы» обернулось крайне неприятным открытием.

¹⁷ Катков 2002: 380. Учитывая предельную актуальность вопроса о том, кто такие «русские» в России, стоит напомнить, как трактовал этот сюжет сам Катков. Для него «русская национальность есть не этнографический, а политический термин», а «русский народ есть не племя, а исторически, из многих племенных элементов сложившееся политическое тело» (Там же: 411).

Выяснилось, что без радикальной реформы избирательного законодательства сформировать в Госдуме более или менее консервативное большинство не получается. Но даже и после такой радикальной реформы, обеспечившей относительно промонархический состав третьей и четвертой Дум, судьба русской монархии и Российской империи все равно была решена — причем тем самым вроде бы «консервативным» думским большинством.

При всей загадочности так называемой «бескровной» Февральской революции, имеется один неопровержимый факт: роль революционного штаба в ней выполнила Государственная дума. Сначала ее руководство в лице Михаила Родзянко совершило государственное преступление, отказавшись подчиниться императорскому указу от 26 февраля 1917 г. о роспуске Думы. А уже на следующий день (почувствовав себя, по словам того же Родзянко, «висельниками») комиссары Временного комитета Госдумы начали «перевербовывать» войска петроградского гарнизона, а 28 февраля — фактически создавать первое Временное правительство взамен свергнутого.

Начало этому государственному антимонархическому перевороту положил думский Совет старейшин, собравшийся в полдень 27 февраля и принявший два постановления: 1) «Государственной думе не расходиться. Всем депутатам оставаться на своих местах»; 2) «Основным лозунгом момента является упразднение старой власти и замена ее новой. В деле осуществления этого Гос[ударственная] Дума примет живейшее участие, но для этого прежде всего необходим порядок и спокойствие»¹⁸.

¹⁸ Цит. по: Николаев 2002: 26.

«Живейшее участие» Госдумы в свержении режима и de facto уничтожении империи весьма символически выразилось в том, что принимать акт об отречении Николая II на станцию с не менее символическим названием «Дно» были отправлены такие «столпы» русского консерватизма, как лидер октябристов Александр Гучков и лидер националистов Василий Шульгин!

Видимо, в том числе и эта горькая ирония истории дала основание Николаю Бердяеву уже через год после Февраля написать: «Несчастлива судьба той страны, в которой нет здорового консерватизма, заложенного в самом народе, нет верности, нет связи с предками. Несчастлив удел народа, который не любит своей истории и хочет начать ее с начала. Так несчастлива судьба нашей страны и нашего народа. Если консерватизм существует лишь у власти, оторванной от народа и противоположной народу, в самом же народе его нет, то все развитие народа делается болезненным»¹⁹.

¹⁹ Бердяев 1990: 122.

Если самое, казалось бы, плодотворное столетие русского консерватизма имело такой финал, то нет ничего удивительного в том, что следующее столетие для становления консервативной традиции в России вообще никаких шансов не предоставило. О консерватизме в СССР как о сколько-нибудь значимом идейном феномене можно было говорить только в терминологии тогдашнего Уголовного кодекса. И Мантиков совершенно справедливо выносит его в область диссидентства.

²⁰ Характерна в этом смысле судьба его пророческой брошюры «Как нам обустроить Россию», опубликованной в шолле 1990 г. (Солженицын 1990). За год (!) до путча ГКЧП Солженицын предложил подумать о том, что делать с политическим устройством России после неизбежного развала СССР, и сформулировал действительно консервативный проект, основанный на идее реставрации (точнее, довершения) земского парламентаризма. Но этот проект оказался полностью невосстановленным.

²¹ В отношении постсоветских «коммунистов» этот тезис, разумеется, должен быть смягчен. См., напр., обстоятельно (как всегда у этого автора) аргументированный доклад Бориса Капустина о левом консерватизме КППРФ (Капустин 2000 (1995)).

²² См., в частности, Руткевич 1999.

²³ См. Ремизов 2005: 148, 149.

Консерватизм русских философов-эмигрантов — Петра Струве, Ивана Ильина, Семена Франка и даже Александра Солженицына²⁰ — был лишен самого главного, в чем нуждается консерватизм не как отвлеченная мысль, а как живая традиция, — национальной почвы. Перестроечное же деление на кремлевских «консерваторов» и «либералов» работало исключительно как журналистский штамп. Представить себе «коммуниста-консерватора» невозможно в принципе, если не иметь в виду лишь одно — стремление этого химерического персонажа сохранить в неприкосновенности монополию власти КПСС²¹.

В этом, кстати, можно усмотреть проявление той логики исторического «оборотничества», которую подметил еще Бердяев, констатируя, что многовековая русская мечта о «Третьем Риме» в реальности обернулась «Третьим Интернационалом». Ведь специфика того «консерватизма власти», о котором упоминает Бердяев (хотя ею самой консерватизм так и не был востребован), действительно состояла именно в удержании своей монополии на ту самую «власть». Но принципиальная разница между имперским и советским контекстами заключается в том, что императорская власть легитимировалась «Божией милостью» и последний наш император не забыл об этом упомянуть даже в манифесте отречения. А что мог предложить Михаил Горбачев в качестве легитимации однопартийной системы, кроме сомнительного тезиса: «Мы свой выбор сделали в 1917 году»?!

Тем не менее после 80 лет вынужденного «воздержания» консерватизм на российской почве начал подавать признаки «возрождения». С начала 1990-х годов даже существовала Консервативная партия, ныне вновь регистрируемая. И политики самого разного толка стали претендовать на этот постепенно обретающий респектабельность бренд. Но что дает нам основания усматривать действительное «возрождение консерватизма»? Какие квалифицирующие признаки и почему мы берем в этом случае за основу? И вообще, как мы отвечаем на самый первый и самый главный вопрос: а что такое консерватизм?

Прежде чем двигаться дальше, будет нелишним напомнить о смысле заданных вопросов. В данной статье я не буду пытаться в духе эссенциалистского подхода выявить и описать консерватизм как некий универсальный тип мировоззрения-идеологии. Такие попытки время от времени предпринимаются с разной долей успеха²², но во всех случаях представляется скорее верной, чем нет, констатация, что «консерватизм ускользает от доктринальных реконструкций в чем-то важнейшем» и «говорить о консерватизме как спонтанной мировоззренческой целостности становится с определенного момента решительно невозможно»²³.

Именно поэтому на первый план выдвигается вопрос о том, как мы концептуализируем феномен, обозначаемый термином «консерватизм», то есть о парадигматических подходах и методологических стратегиях самой концептуализации. Учитывая рамки журнальной статьи, ответ на этот вопрос будет носить скорее характер обзора, без претен-

зии на окончательное суждение относительно того, какой подход и какая стратегия должны быть выбраны как наиболее адекватные и предпочтительные. Думается, однако, что и такая первичная инвентаризация познавательного инструментария окажется небесполезной в деле научного постижения нашего предмета.

Разумеется, первым (и хронологически, и по значимости) в ряду тех, кто разрабатывал методологию изучения консерватизма, стоит Карл Мангейм. С содержательной стороны его «Консервативная мысль» уже настолько хорошо проанализирована, что здесь нет никакой необходимости этим заниматься. Важно лишь отметить, что все сказанное Мангеймом о консерватизме сказано с точки зрения предварительно отрефлексированного подхода в парадигме социологии знания.

Поэтому столь принципиально важно различие между «традиционализмом» (Мангейм заимствует этот термин у Макса Вебера) и собственно «консерватизмом». Первый — это «общая психологическая позиция, выражающаяся у разных индивидов как тенденция держаться за прошлое и избегать новаций»²⁴. Второй — рефлексивная позиция, но отражающая не субъективность индивида, а, наоборот, его включенность в некую «объективную мыслительную структуру».

Тонкая грань, отделяющая «консерватизм» от «традиционализма», выявляется только с помощью исследовательской оптики социологии знания. Мангейм специально сосредотачивается на вопросе об «объективности» консерватизма как «мысли», чтобы отмежеваться от платонизма, схоластического реализма и вообще всякого априоризма: «Никакая дедукция а priori из принципов консерватизма невозможна»²⁵.

Вместо этого социология знания предлагает смотреть на консерватизм как на «исторически развитую динамичную объективную структурную конфигурацию»²⁶, являющуюся порождением не изолированного индивида, а «человеческих групп». Объективность такой «ментальной структуры» определяется тем, что «мы всегда находим ее „до“ индивидуума в определенной эпохе»²⁷. Конкретно на это «предсуществование» консерватизма указывает то, что он проявляется не только в политическом смысле как идеология, но также и в виде «общего философского и чувственного комплекса, который может даже создавать определенный стиль мышления»²⁸. В свою очередь консервативный мыслительный «стиль» складывается как оформление «основополагающего мотива» (Leitmotiv), проистекающего из «неартикулированного группового опыта»²⁹.

В конечном счете Мангейм выстраивает достаточно стройную и строгую методологию, позволяющую ему реконструировать феномен «романтического и феодального консерватизма» в Германии начала XIX в. Тем самым он формулирует определенный парадигматический подход, которым может воспользоваться любой исследователь консерватизма в конкретное время в конкретном социокультурном контексте³⁰. Но он же, по сути дела, в своем предварительном анализе обозначает и другие возможные подходы к феномену консерватизма, трактуе-

²⁴ См. Мангейм 1994: 97.

²⁵ Там же: 594.

²⁶ Там же: 596.

²⁷ Там же: 595. Данное утверждение сразу обнаруживает разницу в исходных методологических посылах по сравнению, например, с таким тезисом Михаила Ремизова: «Поле консервативной мысли распадается, лишенное антропологического референта, точки провозглашения, укорененности в авторитете автора» (Ремизов 2005: 148).

²⁸ Мангейм 1994: 596.

²⁹ Там же: 600.

³⁰ На мой взгляд, максимально аутентично это сделал Леонид Ионин в своей книге «Андейт консерватизма» (см. Ионин 2010).

мого не как «объективная мыслительная структура», а как идеология, особый психоповеденческий настрой или особое восприятие человеческой социальности. Такие подходы были разработаны Сэмюэлем Хантингтоном, Оукшотом и Расселом Кёрком соответственно.

³¹ *Huntington 1957: 454.*

В опубликованной еще в 1957 г. статье будущего автора концепции «столкновения цивилизаций» ставится вопрос, аналогичный тому, который мы задаем сегодня в России: «Действительно ли консервативная политическая мысль существует в современной Америке?»³¹. Эта ранняя статья выдающегося современного политического философа значима в нашем контексте именно тем, что прежде, чем отвечать на вопрос, он четко определяет свой подход к проблеме и выстраивает методологию анализа самого феномена «консерватизм».

³² *Ibidem.*

Хантингтон выделяет три возможных подхода к консерватизму как идеологии, под которой понимается «система идей, связанная с распределением политических и социальных ценностей и по умолчанию принятая значимой социальной группой»³².

Первый подход сложился в виде «аристократической теории», рассматривающей консервативную идеологию как уникальный исторический феномен — реакцию феодально-аристократических и аграрных классов на Французскую революцию, либерализм и подъем буржуазии в конце XVIII в. Таков, полагает Хантингтон, подход Мангейма, согласно которому консерватизм оказывается «функцией одной особенной исторической и социологической ситуации».

³³ *Ibid.: 455.*

Второй подход представляет собой «автономное определение» консерватизма, трактуемого как «независимая система идей, каждая из которых верна сама по себе (generally valid)»³³. В этом случае выбор индивидом консервативной идеологии не зависит от его социального статуса или классовой принадлежности, а определяется способностью усматривать в этих идеях истинность и привлекательность.

³⁴ *Ibidem.*

Третий подход Хантингтон характеризует как «ситуационный». При такой интерпретации консерватизм определяется как «система идей, используемая для оправдания любого установленного в любом месте и в любое время порядка против фундаментальных вызовов его природе или самому существованию, исходящих из какого угодно политического лагеря»³⁴.

Все три подхода сходятся в том, что в качестве «архетипа» консервативной идеологии они рассматривают систему идей Бёрка. Но если так, то наиболее адекватной будет та теория консерватизма, которая убедительнее всего сможет объяснить проявление этого архетипа в истории. По мнению Хантингтона, с этой задачей лучше справляется «ситуационный» подход.

В своем прикладном анализе того, что в американском контексте середины 50-х годов прошлого века именовалось «новым консерватизмом» («New», а не «Neo», как в конце 70-х), Хантингтон последовательно различает идеологии «идеационные» (либерализм и социализм) и «ситуационные» (собственно, одну — консерватизм), а затем, продол-

жая это различие-противопоставление, — «внутренне укорененные» (все те же либерализм и социализм) и «позиционные». Критерий последнего различия таков: «Внутренне укорененные идеологии есть функции групп вне зависимости от того, какие позиции они занимают; позиционные идеологии — это функции ситуаций вне зависимости от того, какие группы в этих ситуациях находятся»³⁵.

³⁵ *Idid.*: 468.

NB! Для разъяснения своего отличия от Мангейма Хантингтон специально (хотя и в сноске) подчеркивает, что в рамках социологии знания у всякой идеологии подразумевается «носитель» в виде какой-то общественной группы или «класса», тогда как трактовка консерватизма в качестве «позиционной» идеологии предполагает, что «идеологии могут иметь „носителей“ в форме повторяющихся паттернов отношений между группами»³⁶.

³⁶ *Ibidem.*

Этот методологически безупречный анализ консервативной проблематики Соединенных Штатов середины прошлого века позволил Хантингтону сделать парадоксальный (если исходить из его отправных посылок) вывод, что в условиях вызова со стороны СССР американские «либералы должны быть консерваторами», ибо они отстаивают либерализм, народный контроль (popular control) и демократическое правление в противовес коммунистическому тоталитаризму³⁷.

³⁷ *Ibid.*: 472. Эту методологию я и применил в своей статье о парадоксах российского консерватизма, назвав отечественных либералов (круг СПС) «функциональными консерваторами» (см. Поляков 2004).

Из иных методологических посылок исходит не менее выдающийся политический философ XX в. Оукшот. В своем эссе «Что значит быть консерватором» (1956) он предлагает взглянуть на консерватизм под особым углом зрения, указанным, впрочем, еще Мангеймом. Для Оукшота консерватизм интересен как специфическая психоментальная структура, обозначаемая труднопереводимым термином «disposition»³⁸ и изначально укорененная в человеческой природе до такой степени, что, «не будь консерватизм важной составляющей частью человеческой природы, человеческая жизнь имела бы совсем иной вид»³⁹. В суммарном виде эта «диспозиция» состоит в том, «чтобы сочувственно принимать наличное состояние общества и, соответственно, неприязненно, критически отвергать всякое изменение, всякое нововведение в нем»⁴⁰.

³⁸ Эту трудность хорошо почувствовали переводчики, используя в качестве русского эквивалента то «склад ума», но «предрасположенность», то «настрой» (см. Оукшотт 2002: 65, 69).

В контексте марксистской по своим методологическим истокам социологии знания Мангейма подобный подход можно интерпретировать как явный анахронизм. И в этом есть определенная доля правды. Но не более чем доля, поскольку методологическая стратегия Оукшота не есть результат игнорирования социологии знания (а тем более — незнания с ней). Нет, она сознательно коренится не в тотализирующей германской (гегелевско-марксовской) традиции, а в индивидуализирующей британской (бентамовско-миллевской).

³⁹ Там же: 70.

⁴⁰ Там же: 69.

Апелляция к «природе человека» в этом случае может пониматься не как запоздалая отсылка к Томасу Гоббсу или Жану Жаку Руссо, а скорее как попытка, в чем-то близкая к юнговской, обнаружить человеческую архетипику, исполняющую роль константы в любых предло-

женных социальных обстоятельствах. При этом сам Оукшот вполне осознает методологическую бесплодность прямой аргументации «от человеческой природы», замечая, что «в общих рассуждениях о „человеческой природе“ — не более постоянной, чем все прочее, — толку мало»⁴¹.

⁴¹ Там же.

Однако, признавая, что за последние 500 лет в динамике стремительного прогрессирования европейской культуры практически невозможно усмотреть консервативную диспозицию как «константу», он все же утверждает, что даже тут «существуют обстоятельства, с неизбежностью толкающие нас на путь консерватизма»⁴². А следовательно, вполне уместной оказывается попытка определить, что такое консервативная диспозиция в политике.

⁴² Там же: 72. В развитие этой мысли Оукшот предлагает набросок своеобразной феноменологии форм человеческого действия и бездействия (досуга), необходимо порождающих (реинкарнирующих) консервативную диспозицию.

Здесь Оукшот выступает как принципиальный «формалист», последовательно отказывающийся связывать политическую консервативную диспозицию с определенным мировоззренческим, религиозным либо идеологически содержанием. В этом он близок к Хантингтону — вплоть до того, что аутентично консервативным подходом в политике признает установку на минимум правительства (что в Европе, в противовес США, трактуется как первый признак «либерализма»).

Но различие между ними в том, что Оукшот не считает «носителем» консерватизма повторяющиеся паттерны отношений между социальными группами, а рассматривает консервативную диспозицию как определенный — абсолютно деидеологизированный — способ деятельности правительства. Последнее будет консервативным, если «правитель выступает... либо в роли рефери, дело которого следить за соблюдением правил игры, либо в роли председателя, руководящего дебатами в соответствии с принятыми правилами, но лично в них не участвующего»⁴³.

⁴³ Там же: 82.

В противоположность этому чисто формалистическому подходу Кёрк попробовал определить консерватизм не как политическую систему или идеологию, а как «консенсус ведущих консервативных мыслителей и деятелей последних двух столетий»⁴⁴. И хотя остается неясным, на каком основании — без предварительной идентификации феномена «консерватизм» — мы относим того или иного мыслителя или политика к консерваторам, сама эта попытка внимания все же заслуживает. Как минимум потому, что в реальной истории собранные им в ридере персонажи действительно так квалифицировались.

⁴⁴ См. Kirk (ed.) 1982: XIV—XV.

Рассматривая «консерватизм» как исторически данную совокупность «мудрых мыслей» или базовых принципов «обустроенного общества» («the civil social order»), Кёрк предлагает такую их последовательность.

Первое (и самое главное) — не может быть консерватора, не признающего «трансцендентный моральный порядок» или «непреодолимый моральный авторитет».

Второй принцип — «социальная непрерывность». Общество не машина, а скорее «сообщество душ». Никакие радикальные прерыва-

ния эволюционного развития в виде революций недопустимы. Любая революция — это «лекарство, которое убивает».

Третий принцип обозначается Кёрком как «предписание». Руководствуясь этим принципом, консерватор и в политике, и в морали всегда предпочитает решения, некогда принятые предками и прошедшие проверку временем. Коллективный опыт поколений складывается в прецедент, следовать которому предпочтительнее, нежели каждый раз заново экспериментировать.

Принцип четвертый отчасти повторяет второй, но формулируется как «осторожность» (prudence). В соответствии с этим принципом, консервативный политик обязан просчитывать долгосрочные последствия любой предлагаемой меры. «Поступь Провидения неспешна, а вот дьявол — вечный торопыга».

Разумеется, в консервативный канон должен входить и «принцип разнообразия» общества. «Для сохранения здорового многообразия, — пишет Кёрк, — нужно, чтобы в любой цивилизации не переставали существовать разряды и классы, различия в материальном положении и всевозможные виды неравенства».

Завершающий (шестой) принцип — «принцип несовершенства». Ввиду принципиального несовершенства самого человека, полагает консерватор, совершенный социальный порядок невозможен. «Цель утопии — кончить катастрофой». Поэтому все, на что мы можем рассчитывать, это «приемлемо упорядоченное, справедливое и свободное общество, таящее в себе определенное зло, неустройство и страдание»⁴⁵.

⁴⁵ *Idid.*: XV—XVIII.

Надо отметить, что как истинный консерватор сам Кёрк вполне критично относится к собственной попытке реконструировать «суть» консерватизма, подчеркивая, что «консервативная мысль — это не корпус неизменных светских догм»⁴⁶. Вместе с тем нельзя не признать, что именно предпринятая им попытка определить консерватизм в его содержательной оригинальности наиболее методологически обоснованна и последовательна — во всяком случае в том отношении, что за кёрковской «суммой консерватизма» стоит в виде аргумента до сих пор не превзойденный по полноте и тщательности отбора ридер с текстами британско-американских консерваторов XVIII—XX вв.⁴⁷

⁴⁶ *Ibid.*: XVIII.

⁴⁷ В качестве ценного справочного издания стоит также отметить *Miner 1996*.

Возвращаясь в наши консервативные «палестины», хотелось бы подчеркнуть, что приведенная в самом начале прискорбная констатация Пайпса не должна ни угнетать, ни расхолаживать. Да, действительно, аутентичная история российского консерватизма во всех его значимых аспектах еще не воссоздана. Адекватный по своей всесторонности и методологической обоснованности анализ современного его состояния — очевидная лакуна в российской политической науке. Но поскольку сам «пациент» скорее жив, чем мертв, то сохраняется надежда, что он дождется-таки от нашего научного сообщества полноценной рефлексии.

И особенно хочется надеяться на то, что при всем по определению самобытном характере нашего консерватизма эта грядущая отечествен-

ная рефлексия не будет чураться чужого методологического опыта — хотя бы для того, чтобы не повторять его ошибок. Ведь согласно несомненно консервативной заповеди — никто не совершенен.

Библиография

- Бердяев** Н. 1990. *Философия неравенства*. — М.
- Бродский** Н.Л. (сост.) 1910. *Ранние славянофилы*. — М.
- Герцен** А.И. 1986. *Сочинения: В 2-х томах*. Т. 2. — М.
- Гросул** В.Я. (ред.) 2000. *Русский консерватизм XIX столетия: Идеология и практика*. — М.
- Ионин** Л.Г. 2010. *Андейт консерватизма*. — М.
- Капустин** Б.Г. 2000 (1995). Левый консерватизм КПрФ и его роль в современной политике // Капустин Б.Г. *Идеология и политика в посткоммунистической России*. — М.
- Карамзин** Н.М. 1991. *Записка о древней и новой России в ее политическом и гражданском отношениях*. — М.
- Катков** М.Н. 2002. *Имперское слово*. — М.
- Либеральный консерватизм: История и современность**. 2001. — М.
- Мангейм** К. 1994. *Диагноз нашего времени*. — М.
- Мантиков** Б.А. 2012. Консерватизм в постсоветской России: между ностальгией и утопией // *Полития*. № 1 (64).
- Местр** Ж. де. 1998. *Санкт-Петербургские вечера*. — СПб.
- Николаев** А.Б. 2002. *Государственная Дума в Февральской революции: Очерки истории*. — Рязань.
- Оукшот** М. 2002. Что значит быть консерватом // Оукшот М. *Рационализм в политике и другие статьи*. — М.
- Пайпс** Р. 2008. *Русский консерватизм и его критики: Исследование политической культуры*. — М.
- Поляков** Л. 2004. Пять парадоксов российского консерватизма // *Отечественные записки*. № 2 (17).
- Ремизов** М. 2005. Опыты типологии консерватизма // *Логос*. № 5 (50).
- Русские консерваторы: Портреты восьми выдающихся государственных мужей России XIX века**. 1997. — М.
- Руткевич** А.М. 1999. *Что такое консерватизм?* — М.
- Современный российский консерватизм: Сборник статей**. 2011. — М.
- Солженицын** А.И. 1990. *Как нам обустроить Россию*. — М.
- Чичерин** Б.Н. 1998. *Философия права*. — СПб.
- Huntington** S. 1957. Conservatism as an Ideology // *The American Political Science Review*. Vol. 51. № 2.
- Kirk** R. (ed.) 1982. *The Portable Conservative Reader*. — N.Y.
- Miner** B. 1996. *The Concise Conservative Encyclopedia*. — N.Y.